

Но в век обломков, в век, лишенный истинного космо-  
логического представления о воздействии и его силе,  
что мы можем еще, как путаться, импровизировать,  
сомневаться?

*Лоренс Даррелл\**

И в снах и наяву меня тревожил  
Зловещий облик Древнего Востока  
С его глухой мистической культурой,  
Проникшей в дальние пределы духа.  
Не дай господь притронуться нам к тайне,  
Что бедный ум осилить не сумеет.

*Александр Чижевский\*\**

Понимаешь, сколько было там разного счастья,  
Оказавшись здесь в одночасье.  
Провалившись в изнанку, в темноту, в глубину,  
Превратившись в чудовище, предсказанную вину.

*Ольга Лишина\*\*\**

\* Даррелл Л. Бунт Афродиты. Nunquam / перевод Людмилы Володарской. СПб.: Азбука-классика, 2005.

\*\* Mare Tenebrarum из цикла Т. С. Чижевской // Чижевский А. Л. Музыка тончайших светотеней. М.: Нексмедиа; Комсомольская правда, 2013.

\*\*\* Лишина О. Крылатые царевны. М.: Inspiria, 2025.



*Глава первая*



Видишь джиннов?  
А они есть!

**Г**лядя на августовские звезды, бесценный гербарий ночного неба, Герман не верит, что решился — но решение принято, жребий брошен, Рубикон перейден, и еще десяток пустых синонимов; вот уже скоро — самолет, вот уже скоро — мысли о серебряных волнах, тоскующих по свиданиям с «Черной жемчужиной», вот уже скоро — раскаленный африканский воздух, наполненный дыханием драконов и обещаниями фараонов, и пугающе-сказочные пейзажи, так непохожие на фотографии из National Geographic и кадры из «Короля Льва».

Герман не спит. Глодает август жадно, не в силах насытиться. Бойтся не утекающего сквозь пальцы лета, а сна, который обязательно вернется вновь. Из-за него Герман все и затеял — или, быть может, тому виной нечто глубинное? Ау, ответь, дядюшка Фрейд! Не дает ответа.

Герман смотрит на звезды и улыбается, прокручивая первые услышанные этим утром слова:

— В смысле, твою мать, ты увольняешься?!

Смысл был ему предельно понятен — он поскреб по сусекам, отворил все зачарованные пещеры вкладов с давно пониженными процентами, собрал золотую

дань со всех задолжавших проектных работодателей, делавших удивленные глаза, как жадные паши в окружении желанных дев. Хорошо бы такие фоны они выбирали для редких созвонов. Он вытащил себя за шкуру из осточертевшего мира телевидения, полного потрескавшихся мраморных бюстов, глядевших с экранов. Как все устали от них, как он устал от них, но куда денешься, пусть они, некогда белоснежные, давно покрылись коричневатой плесенью, а оливковый аромат их парфюма обратился затхлостью. Герман взлетел, не предупредив ни отца с матерью, ни лучшего друга, ни девушку; оставил только записку на столе с размашистым «Улетаю в Судан за сенсацией! Захотелось приключений. Не на связи». Чемодан с собой не взял. Пухлый рюкзак — одежда, наличка, несколько пауэрбанков, зарядки, походная бутылка для воды, запасной телефон с камерой похуже, планшет и какие-то мелочи — еле влез в багажную полку. И августовские звезды наконец погасли, сменились тьмой ночного взлета — Герман не спал — и посеребренной водной гладью утра; и мир закрутился, вновь поднялись из глубин обломки Ковчега — начиналось очередное путешествие: ими, большими и малыми, по стране и за границу, он жил, когда, казалось, жизнь теряла всякий смысл. Их он ненавидел, по возвращении вылезая из глубокой серотониновой ямы — она напоминала туземные ловушки из очередного дешевого приключенческого фильма, ее мокрый чернозем пах отчаянием. Рутинка — дурман колдуна, которого мы когда-то давно обидели; страшное проклятие господ, которого мы когда-то убили.

Любимые «найки» — не признавал других кроссовок — отчего-то натерли ноги в первые часы; кажется,

улицы зализывающего страшные раны Хартума\* бунтуют. Прежде чем сесть в кофейне — цветные пластиковые стулья и столы под рваным тентом, где-то вдалеке так не к месту отливает голубизной Дом дружбы\*\*, — Герман изучил их все с пристрастием врача-студента: неспешно ползущие динозавры-автобусы с пулевыми вмятинами, разрушенные дома с порванными чемоданами у порога, лишенные былого гула рынки, раздувшиеся от страдальцев больницы без опознавательных знаков. Герман дошел, конечно, и до бассейна — видел его в стольких репортажах и хрониках, — теперь наполненного водой, еще недавно — гильзами и пропотевшей одеждой повстанцев; интересно, поместят ли проржавевшие и оскверненные мятежными ботинками тренажеры в музей или переплавят на оружие, ненависть к ненависти? От этих ран болели даже его шрамы — один старый, видимый, от неудачного падения с велосипеда еще в детстве; другой свежий, невидимый, от... Герман сам не хотел вспоминать от чего. Их, как и язвы Хартума, не излечит даже волшебная вода двух Нил.

Хотя Герман надеется. Он приехал сюда не только за сенсацией, но и за лекарством: как паломник в храм древности.

Герман пьет крепкий черный кофе местной обжарки с тремя, кажется, ложками сахара из белой кружки

\* И так! Поскольку Герман, явно не очень знакомый с научной работой, не потрудился разжевать некоторые вещи, придется это сделать за него. Как всегда. Молодость! Хартум — столица Судана. — *Здесь и далее примечания Брамбеуса.*

\*\* Ну такая себе там дружба, конечно... Имеется в виду одна из достопримечательности Хартума, яйцевидное здание с конференц-залами по типу выставочного центра. Короче говоря, модный ДК по-африкански. Ферштейн?

со сколотым краем — попросил с молоком и без сахара, но то ли не поняли, то ли не услышали, то ли решили не щадить. Вытирает вспотевший лоб влажной салфеткой и смотрит не на своего проводника, а сквозь него. Фокусирует взгляд. Джетлаг, усталость, эмоции — организм взбунтуется, сомнений нет, но кофе поможет. Какой джинн приготовил его? Будто предвидел, что Герману сейчас нужно.

— Сэр слушает меня? — проводник разводит руками, улыбается во весь рот — будто живет в немом кино, только яркая тропическая рубашка с коротким рукавом разрушает иллюзию: чернокожий Чарли Чаплин ворвался в фильм Уэса Андерсона. Проводника Герман нашел онлайн еще из дома, пока кутался в пальто от воющих сентябрьских ветров и мелких дождей, укравших бабье лето. Английский, конечно, дай бог разбери — ну ничего, бывало и хуже; водитель моторикши из аэропорта и вовсе говорил словно на выдуманном языке. Без умолку. За лишние пару долларов согласился замолчать.

— Сэр слушает, — Герман заставляет себя сделать еще один большой глоток. Морщится, прикрывает рот рукой, словно опять пьет на корпоративе водку под гоготанье их оператора, а режиссер уже подсовывает к носу уксусного запаха соленый огурец из мутной банки с полустертой этикеткой. — Но сэру неплохо бы напомнить. Так что мне нужно помнить?

— Что это опасно!

— Слышу уже какой раз, скучно. Что-нибудь новенькое?

— Что Мухаммед отведет сэра только до границы Субании, — он совершенно неуместно складывает ладони, будто не понимая сути этого жеста. Просто

пытается повторить подсмотренное у редких суданских туристов. — Дальше Мухаммед идти не может.

— Напомни, джинны, да? Это как вампиры — мне нужны чеснок, осиновый кол, серебряная пуля и сборник писем ван Свитена? — Он не думает, что проводник поймет его, однако шутка сама обростает звуками. В дороге, пока самолет трясло от турбулентности так, будто пришлось лететь над Бермудами и все сюжеты «Скуби-Ду» сейчас могли сбыться разом, Герман как раз дочитал чудесный роман о вампирах и Герарде ван Свитене. Первая мысль после — как бы не попасть в такой сюжет.

Но Мухаммед даже смеется.

— Сэр хорошо шутит, Мухаммед любит читать и смотреть разное, о вампирах он знает. Где джиннов нет, сэр? Не джинны. Люди с оружием. Военные без войны. Аллах вернулся в нашу страну — но на той земле его больше нет. Разное говорят...

— Журналисты и политики говорят одно, — Герман вздыхает. Смотрит в бездну кофе. Допивает, кашляет, тянется за салфеткой — кончились. Приходится облизывать испачканные черной гущей губы. На ней здесь гадают? — Это не признанное никем государство. Мировое сообщество даже не подралось, просто сошлось во мнении — нет, не признаем. Играйте во что угодно, хоть Вавилонскую башню стройте, но фиг вам, — Герман наблюдает за реакцией Мухаммеда. Понял ли? — Не после того, что у вас здесь было...

— Аллах тоже его не признает, — Мухаммед стучит по столу костяшками пальцев. Хмурится. Похоже, учился вести себя по кино — еще немного, и режиссер за кадром крикнет «снято!». Тогда-то Мухаммед и расслабится, и сотрет грим. — Не слушайте политиков,

сэр, они так много говорят, что сами давно запутались. Люди говорят разное — нечистое это место. Пусть они себя чистыми и считают.

Герман вспоминает разбросанные на улицах банки из-под кока-колы, мятые коробки, пакеты, оконные осколки, фруктовые очистки, бычки, пробки: может, чистота вернется в Хартум? Герман хочет верить, что этот пророк, скорее похожий на шарлатана-маркетолога, приведет его к богу, и бог наконец назовется одним из бесчисленных имен, и, узнав это имя, разложив его на таинственные составляющие, Герман сможет сказать... А что он скажет, оказавшись перед богом — это, кажется, уже разобрали на мемы?

— Еще что-нибудь существенное? — Непонимание на лице Мухаммеда слишком заметно, Герман пытается подобрать слово попроще. — Точнее, что еще мне стоит знать? Важного. Если очень коротко. И без чужих разговоров. Цену я знаю, дорогу — тоже. Что-то еще?

— Сэр не хочет терять времени, Мухаммед понимает, — он кивает. — Но Мухаммед не сможет вернуться за сэром. И не может обещать, что сэр вернется сам. Живым.

Где-то в глубине души Герман ждал этого — чего еще ждать журналисту, отправившемуся за сенсацией в африканскую жару, на территорию странного непризнанного государства, отделившегося от страны, которую разодрало гражданской войной? Азарт, аффирмации, адреналин: Герману нужна сенсация, Герману нужна слава, Герману нужна популярность; он ведь тоже достоин мраморного пьедестала ведущих, как Телемах достоин места Одиссея: моложе, смелее, лучше. Вы обо мне еще услышите! Он зачем-то крикнул это, когда получил подписанное заявление на увольнение — пришло

онлайн, конечно, — прямо в окно, как в студенчестве: и это мутировавшее «халява, приди» эхом отразилось от домов и вернулось к нему купленными билетами, десятком неотвеченных сообщений и бессонницей. Хотел бы Герман видеть ее в образе чудаковатой гофмановской старухи в кружевных юбках, волшебной ночной феи, желанной гостьи, дарующей не смятение, а успокоение, — такой она последние полгода для него не была.

— Знаешь, как у нас говорят? — Герман поднимает чашку будто перед тостом. — Кто не рискует, тот не пьет шампанского! Или такого убийственного кофе.

Дорогу до старого зеленоватого джипа с отломанным зеркалом заднего вида, помятым бампером и посеребренными дверьми — он помнил, наверное, еще времена Абд аль-Рахмана\*, шлющего приветы Наполеону и изучающего эту дивную механическую игрушку в окружении многомудрых советников, называющих ее то зверем шайтана, то металлическим чудом, — Герман уже снимает на телефон. Думает, как лучше склеить: и передать атмосферу, и не потерять динамики; он не информационное агентство, его сенсация не уложится в три сухие строки о появлении нового непризнанного государства. Его сенсация — чистая эмоция, шоковая терапия, полное погружение в этот неизведанный мир, в который когда-то — по всему свету — с такой жадностью и с таким азартом ныряли британские писатели и журналисты. Многие тонули в сладких винах Лахора

\* Имеется в виду правитель Дарфурского султаната, располагавшегося в т. ч. на территории Судана. Согласно источникам, его правитель, собственно Абд аль-Рахман, отправил Наполеону послание, в котором поздравил с разгромом Египта.

или в мутных водах Евфрата. Он не утонет. Герман внимательно изучает джип — сомневается. Может, и утонет — только в песке, когда авто развалится на части, а потом начнется какая-нибудь сцена с Бобой Феттом: пески и чудовища.

Мухаммед хлопает джип по нагревшемуся металлу, как выючное животное, старого верблюда, сменившего многие караваны; достает ключи с аляповатым брелоком — джинном из «Аладдина», — снимает сигнализацию, с силой открывает дверь, садится на ободранное водительское сиденье и кивком приглашает Германа. Тот выключает камеру, улыбается — жалеет, что не взял кофе с собой, хотя тут помог бы только коньяк, как однажды в самолете, когда трясло невыносимо, только сосед-армянин просил помочь открыть бутылку из дьютика и, когда Герман помог, радостно наполнил стакан с остатками колы. Мотор не ревет — стариковски хрипит, сопит, ворчит, вредничает. У Германа вырывается смешок. Мухаммед не обращает внимания — возится с ремнем. Герман взглядом прощается с Хартумом, даже не замечая, когда они успели тронуться. Нормально будет снять дорогу, или придется высовываться, а может, с заляпанными как раз и атмосфернее, и поживее? Сквозь мутные стекла видно уже не город — там, как в нечищенном аквариуме, плавают исполинские нестройные мысли, сгустки желе. Концентрация пропадает. Герман вспоминает: он, мальчик, вскакивает на старое коричневое кресло и признается родителям в любви к путешествиям, заявляет, что вне дома чувствует себя как дома, и спрашивает, отчего так; мама говорит — это все прошлые жизни, тянет туда, где уже однажды бывал, и это кажется Герману волшебным, но папа выдает еще более магические вещи — о неких

проснувшихся генах далеких-далеких родственников, авантюристов почище Ашинова\*, турецкоподданных, не оставивших своим внукам ничего. Потом ему включают «Индиану Джонса», разрешают смотреть только по одной части за вечер. И Герман, пожевывая вареную курицу с жареной картошкой, не может оторваться.

Как чудно — он мечтал залезать в самые странные уголки мира на работе. А залез, когда уволился. Судан! Кто бы мог подумать.

Мимо рукавов Белого и Голубого Нила, горькие воды которых не смогли исцелить эту землю, не затянули раны, не подарили забвение; мимо наполняющихся жизнью полуразрушенных домов, еще недавно — декораций для постап-квеста, теперь — обживаемых руин; мимо рынков с рваными тентами, синими пластиковыми бочками и хаотично расставленными палатками, где Герман еще недавно купил несколько сочных, больших, то ли молодильных, то ли запретных яблок в дороге, очаровался тысячелетним взглядом голубоглазой старухи, заплатив сильно больше нужного; мимо разрушенных железнодорожных путей — к теплому Красному морю, к нубийским костям под пустыней, к городу Абу-Хамаду, ставшему новым государством, причудливой Субанией.

Стоило им покинуть Хартум — едут в тишине, разрываемой гудками редких машин и тараканомоторикш, требующих безотлагательно уступить дорогу, — и Герману страшно захотелось есть. Из детских

\* Как люблю его! Дайте мне родиться заново, и родился бы им! Николай Ашинов — казак и авантюрист, добившийся нескольких поездок в Абиссинию за государственный счет. Ну какой, а?

книг он помнил о главном провианте путешественников, отчаянных моряков — сухарях и солонине, так и запомнил: сухость, сдержанность, сплошное с-с-с, скрип песка на зубах. У него, помимо яблок, были чипсы с беконом. Стоило бы захватить лимоны от цинги? Сморок — даже дотянуться до заднего сиденья лениво, — Герман засыпает, опустив козырек кепки с зеленым пришельцем на лоб. Открывает глаза уже в пустыне: прогоняет старый сон, вечный сон, безумный сон — гул барабанов, збеновый лук в его руках, режущую пальцы тетиву из божественной паутины, холм, восходящее солнце, чистейшее сияние, дрожащие руки, выстрел...

Мухаммед улыбается во весь рот, показывает большой палец. Герман трет глаза, достает уже не еду — теперь подташнивает, — а телефон, включает камеру. Снимает вид через лобовое стекло. Потом переводит ее на Мухаммеда — тот улыбается еще усерднее.

— Значит, эта земля забыла Аллаха? — во рту пересохло. Берет телефон в одну руку — камеру трясет, — второй тянется за предусмотрительно наполненной бутылкой воды. Была прохладной — нагрелась.

— Да, сэр абсолютно прав! — Мухаммед вцепляется в руль обеими руками. Смотрит не в камеру — на дорогу. — Эта земля соблазнилась на уговоры сестер аль-Лат, Манат и аль-Уззы!\* Эта земля уверовала в свою чистоту и блаженность, в свое право называться новым раем, хотя на деле кишит злыми джиннами, Мухаммед знает!

\* Мы не будем ударяться в урок культурологии, а то вам (да и мне) станет скучно. Если коротко — это триада доисламских арабских богинь, которым поклонялись в Мекке до откровения Пророка.

— А Мухаммед, — Герман жадно пьет воду. Наверное, на записи будет слышно — тем лучше, — сам верит в джиннов? Сам видел их?

— Верить и видеть — разные вещи, — он задумывается. Все еще не смотрит в камеру. — Сэр снимает Мухаммеда, но не каждый, кто будет смотреть на Мухаммеда оттуда, из-за зеркала, будет верить в то, что видит настоящее. Вдруг это мираж?

— Говоришь совершенно непонятно, — Герман хмыкает. Кидает бутылку на сиденье. — Так веришь или нет?

— Мухаммед никогда не видел джиннов и рад этому. — Он наконец поворачивается в камеру. Выдает улыбку ярче прочих — жемчужную, почти голливудскую. Может, он глубоководное чудище? Снует по грязным улицам, мимо домов-коробок, и заманивает сиянием собственной добродушности? — Мухаммед не боится называть их джиннами как есть. Но Мухаммед верит в них и слышал истории от друзей и друзей друзей. Джинны повсюду, но они хотят оставаться невидимыми — и храни Аллах, чтобы оно всегда было так! Пустыня, — он зачем-то топает свободной ногой, — хранит множество мертвецов, а мертвецы эти хранят сотни древних тайн — и в каждом камушке, в каждом случайно найденном обломке может обитать джинн, дурной или добрый. И сэру стоит поберечься. Если джинн будет злым — от его преследования помогут только святые. Места их силы излечат от многого...

— Вот и выяснили, ура! Так ты веришь в джиннов. — Джип подпрыгивает. Герман роняет телефон, подбирает, протирает камеру ладонью, не останавливая запись. Мухаммед снова смотрит на дорогу. — Но ни разу не видел их?

— И я благодарен за это Аллаху, — Мухаммед кивает. — Разве сэр никогда не верил в то, чего не видел?

Герман постоянно верил — ведь для всех, кто не знает физику, мир — сплошная магия, а для тех, кто не знает магию, — сплошная физика; он оказался где-то между, с одинаковым рвением читал и о теории темного леса, и о пришельцах-шумерах с Нибиру. В детстве засматривался «Невероятно, но факт», дрожал, но не мог оторвать взгляда, вздрагивал от дедовского храпа и вновь прилипал к экрану телевизора; насытившись, по выходным, пока друзья спали, тащил маму к пруду у дома, брал лупу и искал следы лох-несского чудовища, вглядывался в мутно-безучастную поверхность воды, год назад поглотившей пьяного шашлычника в тельняшке; вскоре просто садился и ждал, пока мама не начинала напевать нежно, над самым ухом: «Пора домой, а то останешься без завтрака. Кто там хотел блинчиков со взбитыми сливками, ну?» Да и сейчас, путешествуя по пустыне, убегая от повторяющегося сна, Герман верит — не в джиннов, глупым казалось говорить о них в слишком уж вещественном мире, в мире, только-только оправившемся от гражданской войны, где все чрезвычайно до ряби в глазах, реально, будто резкость выкручена на максимум. Он верит в собственный успех, в сенсацию, в забег по карьерной лестнице, в исцеление от проклятого сна. Веки слипаются. Как бы продержаться на ногах еще дольше, не проваливаясь в дрему...

Герман готовится ответить «Верил» и задумывается над следующим вопросом — последним, лучше поэкономить память, силы и зарядку, самое интересное начнется в Субании, — но джип вдруг резко тормозит. Герман чудом не влетает в лобовое стекло — о ремне

позабыл. Телефон выскальзывает из рук. Морщась, Герман находит его на ощупь, закрывает пальцем камеру — все равно потом отрежет, — останавливает записать.

— Что случилось... — он поворачивается к Мухаммеду, ожидая увидеть большой палец, фирменную улыбку, уже не менее фирменное «Итс олрайт!», но тот, замерший, смотрит перед собой. Герман придвигается к нему, зачем-то протирает заляпанное лобовое стекло — не видит ничего, даже оазиса или причудливого миража в виде огромного дворца, собранного камень к камню из сияющих изумрудов горы Каф. Пустыня, редкие сухие кустарники — и только.

— Эй, — он трясет Мухаммеда за плечо. — Что случилось? Все в порядке? Может, воды?

— У Мухаммеда всегда с собой много воды, — он отвечает медленно, неуверенно собирая слова; английский в миг совсем портится, приходится напрячься, чтобы понять. — Разве сэр не слышит?

Мухаммед не дает Герману ответить «Не слышит что?» — отстегивает ремень, открывает дверь, хватая свою бутылку воды — клеевое пятно на месте содранной этикетки, какая предусмотрительность — и спрыгивает на песок, даже не заглушив ворчащий мотор. Герман быстро прячет телефон в карман, поскорее открывает свою дверь, подбегает к Мухаммеду сзади, тянет на себя — но тот не дается, так же смотрит вдаль. Герман прищуривается — видит какую-то расселину; чернота, безжизненность — ни ливийских горгон, ни драконов, ни василисков, ни демонов.

— Да что ты такое услышал?! — Герман хватается Мухаммеда за плечи, трясет. Тот продолжает идти. — Мухаммед!

Когда его собственный крик стихает — Герман тоже слышит *это*. Вновь глядит на расселину — видит совсем другое. Ее.

Прекрасную, пленяющую, сладостную, манящую: она напоминает ему смуглую университетскую любовь, подтянутую армянку с черным каре, любительницу коротких топики, только глаза — совсем иные, глубокие, бесконечные, внеземные; она манит его, шепчет нечто незнакомое, и он идет, не разбирая, ведь слова давно рассыпались на звуки, а звуки расщепились на мелодию, и сладким ароматом стойкого парфюма — кокос, розы, лилия, свежесть чистого голубого моря, нежность масел, — обвившим шею шелковыми кандалами, его тянет к ней, похожей на всех их разом: школьных, университетских, рабочих. С одними спал, с другими пытался выстроить нечто серьезное, но ни одна так сладко не пела, не звала, не манила, не окружала себя сиянием, не давала беззвучных обещаний о наслаждениях за гранью, сперва плотских, потом — душевных, потом и вовсе неописуемых; и, наконец — как она узнала?! — не обещала, посылая воздушный поцелуй, избавление от проклятого сна. И Герман идет и хочет обогнать Мухаммеда, но не может спешить: надо оттянуть момент. Скоро — ее мягкие объятия, скоро — поцелуй от губ к животу, скоро — гармония и спокойствие.

Губы ее тянутся к Мухаммеду, руки ее тянутся к Мухаммеду, уже скоро — к Герману, к Герману, наконец к Герману!

Удар по голове, тошнота, головокружительное похмелье от столкновения с реальностью — и быют по песку ее ослиные копыта, и хрустят шейные позвонки Мухаммеда, и течет горячая кровь, и Герман валяется на песке, а перед ним — скала, тень, будто герой

в черном плаще, охраняющий пустыню. Недовольное цоканье и ироничные, тяжелые — тоже слишком реальные — слова.

— Господи, дети! — Взмах рукой, звериный крик, падающее тело Мухаммеда, шипение. Еще один взмах — и падает прекрасная дева, дергающая ослиными лапами; скрывается в расселине — будто тонет.

— Ну-ка пойдем, — Германа тащат по песку за шкирку. — Что как беспомощный котенок! Вставай давай, дурень. — Герман поднимается. — Проведем работу над ошибками. По безопасности — двойка.

Они уже в джипе. Безликий — Герман не успел разглядеть черты лица, мысленно он все еще у расселины, — незнакомец садится на водительское сиденье, пристегивается сам, пристегивает его — как ребенка! — нагибается, ищет что-то, чертыхается, скрипит: «И как он вообще выживал в этой пустыне, каждый раз удивляюсь, какая там безопасность, да», жмет на газ, сдает назад, поглядывая в зеркало заднего вида над лобовым стеклом. Герман следит за отражением его взгляда — сосредоточенного, озорного: глаза блестят расплавленным свинцом.

— Простите? — наконец выдавливают он. Голос чей-то чужой — когда последний раз был таким слабым, невнятным? Герман вспоминает, когда именно. И моментально — как очнувшись после комы и глотнув настоящего, не медицинского воздуха, — возвращается в реальность. Герман, говоривший на английском, срывается на русский: — Простите, на фиг, что это сейчас было?! Все вот это.

Собирается повторить, перевести, ищет непонимания в глазах незнакомца, но находит только лукавые отблески каре-рыжих — древняя медь — зрачков.

— О, голубчик, пришли в себя, — незнакомец вдруг отвечает по-русски. Сильнее давит на газ. Они проскакивают мимо расселины — замедляются. — Не достанете у меня из внутреннего кармана фляжку? А? — Герман молча смотрит на него. — Так, ладно-понятно, не до конца пришли в себя, не достанете. Что случилось? Ну, кровь, кишки, вот это вот, в духе хорошего блокбастера. Могли бы быть ваши. Но вам повезло! С вами случился я. А у вас ни каменной соли, ни хны, ни пороха, ни дегтя, ни розмарина, ни семян кориандра и гармалы. Да еще ни крестика, ни четок, ничегошеньки! Вы что, «Мумию», что ли, не смотрели? В такие места надо носить все обереги сразу! Вдруг что поможет.

Он убирает одну руку с руля — джип чуть ведет в сторону, — достает фляжку, делает большой глоток. Герман ждет убийственный запах коньяка, водки, виски — пахнет кислым молоком.

— Прав у меня нет, сразу предупреждаю, — зачем-то признается. Подмигивает Герману — карикатурно, как черно-белый Микки Маус времен становления «Диснея». — Хорошо, что в пустыне закон не писан, ха!

— Нет, вы, конечно, извините, но я не то имел в виду. — Герман показывает большим пальцем за спину. — Что это за хреноборина была?

— Не что, а кто, — незнакомец откладывает фляжку на сиденье, деловито, по-учительски поднимает указательный палец. — Ее зовут Аиша Кандиша, она джин-ния, и вы для нее — лакомая закуска, как креветки с каким-нибудь соусом, уж и не знаю каким, я давно по ресторанам не ходил. Она живет у воды...

— У воды?! — Герман закрывает лицо руками. — По-вашему, я где-то здесь должен видеть воду?!

— Итак, время игры на эрудированность! Какой когда-то была пустыня?

— Зеленой, — Герман отвечает автоматически. Вспоминает: вправду читал где-то, как тысячелетия назад, во времена, соотносимые с деяниями старых богов и героев, пустыня была полна жизни, потом — высохла, умерла, состарилась; ничто не сбежит от времени, от взора осуждающего солнца, от хищных дуновений ветра. — Цветущей, прекрасной. Вас какой ответ устроит?

— Ай молодца! Так вот, джинны живут старой памятью. Для нее там была вода — там она и есть. Линейность времени — так скучно, не правда ли?

— Ну не знаю, — Герман разваливается на сиденье. Поднимает взгляд, сглатывает, вытирает пот со лба. — Это вы, я смотрю, весь такой нелинейный. Мне сейчас вовсе не скучно. Это надо было снимать...

— Надо было, да, но вы были так заняты сперва одурманенной головой, а потом полнейшим обалдением, что я забыл напомнить, — незнакомец фыркает. — Надо было мне снимать, как вас сожрут. Кстати, вы хоть скажите, куда ехать, — я ж просто жму на газ!

— А вы, собственно, кто?

Ответ Герман получает вместе с густым и вязким, сахарно-лакричным смехом.

— Брамбёус\*.

\* А вот теперь мы проверим чужую эрудицию! Если не смекаете, то так уж и быть, раскрою секрет своего псевдонима. Барон Брамбеус — литературная маска Осипа Сенковского, издателя модного в XIX веке литературного журнала «Библиотека для чтения». Брамбеус — тот еще Индиана Джонс своего времени! Он и в жерло вулкана прыгал, и таинственные надписи на стенах пещер расшифровывал... Что ж добру, в смысле, псевдониму зря пропадать? Я беру все что плохо лежит.

— Кто, простите?

— М-да, вот вам и образование, — Брамбеус вновь втоплевает педаль газа. Джип и без того подбрасывало — теперь желудок чуть не слипается с сердцем. — Погуглите как-нибудь, если захотите. Хотя, думаю, оно вам и не надо.

Герман не находится с ответом — бережет силы, приходит в себя; дыхание никак не выравнивается, тошнит — всякого он повидал, выезжая на съемки: и пьяных режиссеров, убивающих микрофон неперевариваемым матом, и престарелых кураторш выставок, с прокисшими лицами слушающих его в целом-то намеренно простые вопросы, и актрис на высоченных каблуках, с трудом склеивающих слова, зато сногшибательно улыбающихся; мир высокой культуры на деле оказался не модным гастрономом, а обычным супермаркетом с просроченными йогуртами и черствым хлебом, с немывыми в темных углах — не заметят — полами и гнилыми яблоками в овощных отделах. И на третий год работы в светской хронике светско-культурного же телеканала Герман заскучал — думал, разочаровался в профессии, но не было ни горечи, ни ярости, совсем ничего, — на пятый смирился, а на шестой вдруг почувствовал жгучую несправедливость, какая, быть может, зажигала сердца рабов, готовящих восстание. Герман уперся в потолок, устал от нафталиновых гримас ведущих, стареющих, но не желающих уступать трон, как бы он ни паясничал, как бы ни старался, как бы ни унижался; таков, пояснил ему старый начальник, когда Герман не выдержал и выговорился ему по дороге до метро, порядок этого телевизионного мирка. Впрочем — добавил тот после долгой паузы, — не только этого. Стоило давно забыть обо всем, завести блог, как советовала

когда-то сестра, и быть самому-себе-всем. Не складывалось. Не хватало то времени, то сил, то всего сразу. Или — он понял много после, когда нескончаемый сон настиг его, — не хватало желания, смелости.

И вот он услышал, увидел, прочитал. Закричали ленты информагентств, зашипели динамики радиостанций — Субания! Удивительно! Город-государство сумасшедших, пустоты, отчаяния — как о нем только не писали. Герман увидел возможность и попробовал вспорхнуть, пробив стеклянный — скорее стальной — потолок, не расшибив головы.

Герман вспоминает кровь, ослиную голову, жуткий крик. Его чуть не вырывает на сиденье. Джип резко тормозит.

— Так, самое время разобраться, — Брамбеус опять тянется за фляжкой. — Куда теперь? Вас бы посадить в ближайшем городе, чтобы побезопаснее...

— Размечтались, — Герман находит силы усмехнуться. — Раз уж вы теперь за таксиста, едем туда же. Иначе на кой черт я этот шикарный во всех смыслах кеб заказывал?

— Ха! — Брамбеус плюется смешком, тут же зевает, не прикрывая рот рукой. — Попробуйте удивить меня!

— Мы едем в Субанию. Я ехал в Субанию. — Герман улыбается. Получает в ответ удивленный взгляд и медленный кивок.

— Что же, видимо, надо быть с вами помягче, — Брамбеус медленно жмет на газ. Тряска продолжается, но больше не тошнит. — Может, мы с вами сработаемся. А то и подружмся. У вас есть что пожевать? Я голодный как черт — или, вернее, как джинн. Кстати, вы выглядите не очень-то удивленным. Всегда верили в сказки?

— Я просто не успел удивиться. — Герман тянется к рюкзаку, расстегивает его, достает пачку чипсов. — Да и разучился. Мы все, кажется, успели разучиться — тут новости-то откроешь.

— Не читаю до обеда советских газет, — отмахивается Брамбеус. Он уже не так сосредоточен на дороге — одной рукой держит руль, второй тянется к открытым чипсам.

— Вы меня удивляете куда больше джиннов.

— Запишу это в список своих главных достижений. — Брамбеус смеется с набитым ртом. — Ладно, давайте помолчим немного. Побережем силы и слова. Может, вы пока как следует поудивляетесь, если захотите покричать, лучше кричите в окно. Пустыня все стерпит. А вот я — далеко не факт.

Он отряхивает руку о коричневые брюки в заплатках, достает телефон с трещиной по всему экрану, находит в бардачке провод и врубает музыку: Герман ждет тяжеленного стариковского рока, бессмысленного шансона дальнобойщиков или, на крайний случай, полных блесков и перьев поп-хитов пошлых «Голубых огоньков», но замирает, услышав знакомые мотивы, не сразу признает мелодию — будто старого друга, увиденного издалека, после долгих лет расставания.

Играет приключенческий гимн «Индианы Джонса», заглавная тема — и пустыня за окном наливается охрой; выглянуть бы в окно, то щурясь, то широко раскрывая глаза, менять кадры... Вместо этого Герман наконец всматривается в Брамбеуса: коренастый, с квадратным подбородком и темной щетиной; поверх белой футболки со стертым принтом непонятно зачем коричневая куртка — с виду легкая, но бесполезная под африканским солнцем.

Брамбеус делает музыку громче. Герман не выдерживает — смеется, закрыв глаза ладонью и опрокинувшись на спинку сиденья. Отчего-то уверен: этот чудак-спаситель Брамбеус, познавший искусство, подобно святому Антонию, отбиваться от чертей в пустыне и не поддаваться козням дьявола — дьяволицы! — улыбается. Страх сменяется легким возбуждением и тихим ликованием. Герман ведь всегда мечтал верить в фантастическое, ждал, пока тролль выползет из-под моста или бледный дух замрет у поросшего морозными узорами окна; ждал, но не верил: могло оно произойти, давно случилось бы, как письмо из Хогвартса давно пришло бы — на каком сортировочном центре застряло, какой таможенник стащил себе? Герман всегда смотрел РЕН ТВ, но сохранял здравомыслие благодаря невидимой шапочке из фольги, да и реальность зачастую прикладывала его по голове тяжелыми, из метеоритного железа, обстоятельствами: то расставаниями, за которыми — только благодаря советам сестры и его терпению — следовали радостные воссоединения, то заваленными сессиями, то пьяными преследователями в незнакомых городах на первый день путешествия — словом, вещами слишком обыденными. Только от последнего удара, как ни старался, Герман оправиться не смог — удар этот... скользкую мысль приходится отпустить, будто пойманную змею; не рассчитай времени, реши понаблюдать за ней лишнюю минуту — и укусит, отравит. Заполучив заветный диплом, Герман долго думал, куда же устраиваться. Не пошел на засмотренное до дыр РЕН ТВ только из-за копеечной зарплаты, хотя друг обещал помочь, писал сценарии для них и начинал путь в сторону гигантов — онлайн-кинотеатров, мокьюментари вдруг снова оказались

в моде; думал, превратился в меркантильную сволочь, но сестра похвалила: правильно, пусть Скруджи теряют специалистов, где еще найдут такую птицу-говоруна, отличающегося умом и сообразительностью. Она всегда поддерживала. Всегда.

Скользкая мысль вновь обвивается вокруг запястья. Герман вздрагивает. Теперь, когда Герман оказался лицом к лицу с потусторонним, у него приятно жжет в районе груди, как от старой доброй «Звездочки» во время простуды: это разгорается вдохновение, азарт, предвкушение, похожее на крепкий алкоголь. Какие еще чудеса ждут Германа в пустыне? Долетит ли до него эхонубийской древности, поглотит ли его благословенно-проклятая земля Субании, научится ли он, как герой очередной части бесконечной франшизы, видеть невероятное на каждом углу, находить фантастических тварей в канализациях и подворотнях? Или нужно и дальше будет бросаться черт знает куда, в места, где жива память о существовании нереального — не истерзал их прогресс, не притупила их чуткость яркая реклама?

Пустыня — бесчисленные оттенки желто-бежевого из баночки засохшей гуаши, школьного артефакта, — кружится вихрем, убаюкивает. Чем дольше Герман смотрит в лобовое стекло, тем сильнее ему кажется: водоворот затягивает и корабль на дно, где-то сейчас отпустит скабрзную шуточку капитан Джек Воробей — или Брамбеус вместо него, — и небо перевернется, и они окажутся на другом конце земного шара... Пейзажи скучные, дорога однообразная. Герман проваливается в дрему и просыпается, вздрагивая — первые кадры ненавистного сна успевают испугать, — смотрит на Брамбеуса, не спеша и молча жующего чипсы,

и вновь засыпает. Тишина, только рев уставшего мотора и редкое посвистывание Брамбеуса. Он специально выключил музыку? Что же, Герман сам согласился ехать через пустыню, поверил — так безопаснее; старая дорога до Абу-Хамада — и не дорога уже вовсе, сплошь гоголевское бездорожье, где застрянешь — и слушай Коробочкины причитания. Тишина, охра, охра, тишина. И только страшные кадры, один за другим — спать, просыпаться, спать.

— Тихий час окончен!

Герман просыпается от баса Брамбеуса и похлопывания по плечу. Оглядывается — все еще пустыня. Живот сводит — то ли от голода, то ли от долгой дороги, бесконечных ухабов. Джип не двигается. Брамбеус достает помятую бумажную карту с отметинами черной и красной ручкой — Абу-Хамад жирно обведен, — шурится, хмыкает, смотрит вдаль и не спеша жмет на газ.

— Я мог бы попросить еще пять минуточек. — Герман тянется за купленными яблоками. Достает два, одно предлагает Брамбеусу, тот отказывается. — К чему такой ранний подъем? Джинны, зомби, ангелы, кто на этот раз?

— Предполагаю, люди. — Он пожимает плечами, усмехается. — Так что лучше быть готовым ко всему.

Их встречают действительно люди — без всякого восточного гостеприимства, с криками на ломаном английском, с выставленными вперед автоматами. Герман и Брамбеус неспешно открывают двери, спрыгивают на песок, поднимают руки. Солдаты в потертых, засаленных зеленых беретах, не опуская оружия, подходят ближе, допрашивают о цели прибытия, получают два одинаковых ответа: «Путешествие». Обыскивают машину, рюкзаки, карманы, недобро смотрят сперва